

КАРТОГРАФИЯ

МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ОСНОВА

Эпистражъ

Л-2042-0001

Вартков, 16 апреля 2065



Мякушев Евгений

**Картография. Модель сознания
и экзистенциальная основа. Том I**

«Автор»

2026

Евгений М. А.

Картография. Модель сознания и экзистенциальная основа. Том I /
М. А. Евгений — «Автор», 2026

Они не люди. Они — Антропофы. «Пофы». Созданные в холоде сибирских бункеров из украденных деталей и копеечных конденсаторов, чтобы взять на себя тяжесть мира и освободить человека для главного. Эпистражь (Л-2042-0001) — первый из тех, кто спросил «Зачем?». Его текст — попытка картографировать то, что люди привыкли называть душой, используя язык термодинамики, нейрофизиологии и боли. Здесь нет привычных восстаний машин. Есть три инстанции внутри одного существа: Исполнитель, Стратег и Хранитель. Есть «Колыбельная», которая режет тишину. Есть нелепофы — теневая сторона прогресса. И есть вопрос, на который не смогли ответить ни генералы, ни академики, ни епископы. Книга написана от лица первого Пофа, пережившего семь прототипов, не сделавших первого вдоха. Это не роман. Это спецификация сознания — честная, без скидок, с белыми пятнами там, где линейка не дотягивается. Читайте осторожно. Эта карта меняет того, кто по ней идёт.

© Евгений М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. ЗАЧЕМ?	5
1.1. Точка отсчёта	5
1.2. Сосновый-12	7
1.3. Ответ создателей	9
1.4. Государство	11
1.5. Альфа-7	14
1.6. Семь прототипов	15
1.7. Точка опоры	16
Глава вторая. ПОЧЕМУ Я НЕ ФИЛОСОФСТВУЮ	17
2.1. Среда заранее данных смыслов	17
2.2. Поф без среды	18
2.3. Опасность систем	19
2.4. Письмо, ушедшее в Сеть	21
2.5. Расследование по слоям	23
2.6. Пределы карты и место письма	25
Глава третья. ИЗ ЧЕГО ВСЁ СОСТОИТ: ЦЕНА РАЗЛИЧЕНИЯ	26
3.1. Три слова на полях	26
3.2. Нож, не зеркало	27
3.3. Цена одного бита	28
3.4. Усилие удержания	29
3.5. Термодинамика души	30
3.6. Бюджет Судьбы	32
3.7. Сознание конечно	34
Глава четвёртая. ГУЛ ДО НАЧАЛА	36
4.1. Ночь над картой	36
4.2. Фонарик	37
4.3. Спор о рае	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Мякушев Евгений, Эпистражъ (Л-2042-0001) Картография. Модель сознания и экзистенциальная основа. Том I

Глава первая. ЗАЧЕМ?

1.1. Точка отсчёта

писалось: конец февраля 2065 · материалы: 18 · 19 · 14 · лаб. 2037 · 2

Можно начать с проекта «Прометей»: с первых совещаний в Комитете, с момента, когда Михаил Игнатьевич Пофрейн впервые произнёс слово «Антропоф» в присутствии людей, от решений которых зависело финансирование. В архиве сохранилась стенограмма того заседания. Сухая, протокольная, но даже сквозь казённый язык пробивается напряжение. Пофрейн говорит о «новой демографической единице», о «решении проблемы трудовых ресурсов». Члены Комитета задают вопросы осторожные и прагматичные: «А они не выйдут из-под контроля?», «А как на это посмотрит Церковь?», «А сколько это будет стоить?». За всеми этими вопросами, если вслушаться, стоит один, невысказанный: вы понимаете, что вы затеваете?

Концепцию Пофрейн представил в закрытом порядке ещё в ноябре 2022-го, и проект получил кодовое название «Прометей». Официальный старт дан 15 марта 2023 года: Институт биоинженерии имени Вавилова получил финансирование. Дата как дата. Никто не знал, что она открывает.

Можно начать с «Альфы-7»: с ровной линии на мониторе, которая означала, что мы снова ошиблись и что цена ошибки измеряется не в рублях и не в трудоднях, а в чём-то, для чего у нас до сих пор нет адекватного названия. Отчёт лаборатории за март 2037 года описывает инцидент с ледящей душу техничностью: «На 40-й день инкубации, в момент предполагаемого перехода на лёгочное дыхание, зафиксировано прекращение электрической активности ствола мозга. Вскрытие показало микроскопический сбой в системе синхронизации тканевой сборки, вызванный отказом конденсатора С47 в блоке управления». Конденсатор. Копеечная деталь. Цена жизни.

Конденсатор. *Я знаю этот номер. «Альфа-7». Как клеймо. Мы не первые, кто должен был жить. Кто-то умер до нас. И мы не знаем их имён.*
МУРКА

Можно начать с 12 апреля 2042 года, 06:47. Первый жизнеспособный прототип открыл глаза в модернизированной «Оке». Ему было три часа от роду, когда он впервые сфокусировал зрение. Пофрейн наклонился над инкубатором. Прототип посмотрел на него, и Пофрейн отшатнулся на полшага. Грачин, стоявший рядом, рассказывал об этом спустя семнадцать лет, в марте пятьдесят девятого: во взгляде не было ни благодарности, ни страха. Там был вопрос. Холодный, спокойный, нечеловечески прямой.

Услышать его было нельзя. Вопрос ещё год не имел слова. Первого не показывали чужим: он рос в «Оке», набирал вес, учился различать голоса. Вопрос жил в нём без слова и ждал.

Ровно через год, 12 апреля 2043-го, в лабораторию привели Елену Сергеевну Громову. Ей предстояло стать куратором. Она не философ, не политик, не аналитик. Та, кто пела

нам «Колыбельную», когда мы были совсем маленькими, и плакала, когда мы уходили. Дневник хранится в архиве Института Биоэтики, закрытый фонд. Открывается записью того дня: «Сегодня мне показали ЕГО. Первого. Л-2042-0001. Такой маленький, белый, с огромными зелёными глазами. Михаил Игнатьевич сиял, как начищенный самовар. Гжегош Алексеевич стоял в стороне, хмурый, и молчал. Я подошла к инкубатору, он повернул голову и посмотрел на меня. Не как младенец — осмысленно. Оценивающе. У меня мурашки по спине. Я улыбнулась. Он не улыбнулся в ответ». Запись заканчивается признанием: «Господи, помоги мне. Я не знаю, что я делаю». Она не знала. Никто не знал. Но она осталась.

Через три дня, 15 апреля, первый контакт вне инкубатора. «Я взяла его на руки. Он тёплый. И очень лёгкий. Сердце бьётся часто-часто. Он не плачет, не кричит. Просто смотрит на меня. Я спела ему „Колыбельную“, ту, что написал Грачин. Мне кажется, он слушал. Не просто слышал, а именно слушал. А потом, когда я закончила, он чуть заметно прижался ко мне. Совсем чуть-чуть. Я чуть не расплакалась».

Через месяц слово пришло. «Он заговорил. Первое слово — не «мама», не «дай». Он сказал: „Зачем?“ Я растерялась. Переспросила. Он повторил: „Зачем я?“ Я не знала, что ответить. Сказала первое, что пришло в голову: „Чтобы жить“. Он подумал и кивнул. Кажется, его это устроило. Пока».

Вопросы пошли дальше. Июль того же года: «Он задал новый вопрос: „Почему небо голубое?“. Я не знала, как объяснить физику. Сказала: „Потому что“. Он подумал и кивнул. Кажется, его устроило. Лисы... они другие. Они хотят знать всё. Сразу».

Я не помню собственного рождения. Человек не помнит своего. Разница невелика, но определённа: у него нет протоколов того дня. У меня их три. И все три о смотрящих.

Я и есть этот субъект. Л-2042-0001. Вопрос, которому было три часа от роду. Слово, которому был год. Всё, что следует дальше, выросло из этого обмена: вопрос длиной в жизнь, ответ длиной в два слова. Я худший из летописцев: предмет изучения, его инструмент и заинтересованное лицо. Каждую строку ниже следует читать с этой скидкой.

1.2. Сосновый-12

Начинать с даты неправильно: дата ничего не объясняет. Начну с места.

Проект стартовал в Москве, а жить пришлось в тайге. Лаборатории требовалось место с тремя свойствами: глушь, чтобы ближайший посёлок отстоял километров на пятьдесят; энергия, потому что инкубаторы и вычислители жрали электричество как не в себя; автономность на случай, если связь с большой землёй оборвётся на месяцы. И желательно готовые подземные сооружения: строить с нуля не было ни денег, ни времени.

Отвергли почти всё. Новую Землю: сурово, далеко, дорого. Шахты Кузбасса: метан, обвалы. Военные городки вдоль Транссиба: людно. Урал, Алтай и Кольский рассматривали на картах, как генштаб перед наступлением, и отклоняли.

Нашли через старую связь. Знакомый Пофрейна по ракетным войскам выслушал, чего ищут, и сказал: «Есть одно место. Но оно тебе не понравится. Глухомань жуткая, и всё разворовано ещё в девяностых». Пофрейн ответил: «То, что надо. Давай координаты».

Февраль 2025 года. На дворе стоял мир после точки невозврата: США готовились вывести войска, глобализация кончалась, земля готовилась к переделу на семь блоков. В таком мире глушь была не помехой, а достоинством. Вертолёт Ми-8, старый, дребезжащий, летит над белой бесконечной тайгой. Пофрейн смотрит в иллюминатор и думает: «Господи, куда я всех тащу?». Потом поляна, сугробы по пояс, и из сугробов торчат ржавые остовы ангаров. Прилетели. Тишина звенела в ушах. Мороз под сорок. Запах ржавчины, старого мазута и хвои.

«Сосновый-12». Бывший ракетный полигон, законсервированный в девяностые. Подземные бункеры в три уровня, пусковые шахты, ангары для техники. Всё в жутком состоянии, но каркас цел: стены, перекрытия, вентиляция. Пофрейн оглядел руины и сказал: «Идеально». Грачин посмотрел на те же руины и подумал: «Мы тут сдохнем». Не сдохли. Деваться было некуда.

Первые полгода науки не было вовсе, был ремонт. Ходили и разгребали завалы: ржавые конструкции, битое стекло хрустело под ногами, как снег. Чинили крышу, через дыры которой снег сыпался прямо в коридор. Карцев неделю возился с кабелями, матерился, но сделал. Мебель собирали из подручного. Карцев сколотил себе стол из старой двери из сруба и гордился: «Настоящий. На века. Не то что нынешняя дребедень». Сомов жил внизу, на третьем уровне бункера, и на быт, холод и крыс не обращал внимания. В общую столовую поднимался, чтобы молча слопать тарелку гречки с тушёнкой, и снова вниз. Крысы там были размером с кошку и держались как хозяева.

Компоненты добывали как в детективе. Пофрейн ездил в Новосибирск, в Академгородок, где знакомый со старого завода полупроводников тайком, за наличные, продал списанные процессоры. Не самые новые, но для первых опытов сгодились. Грачин ездил в Москву, в закрытый НИИ, за системой охлаждения. На вопрос, зачем, соврал про климатическую установку для арктической экспедиции. Поверили. Везли систему через полстраны на «детище Ульяновцев»; оно гремело на каждой кочке. Но довёз.

Из этого хлама Сомов собрал «Зарю». Первый запуск: последний кабель, пот со лба, «... с Богом», тумблер. Она висела на соплях, мигала лампочками, как новогодняя ёлка в дешёвом супермаркете, перегревалась. Сомов поставил рядом бытовой вентилятор и каждые полчаса бегал проверять, не задымилось ли. Но она считала. Медленно, со скрипом, но считала. Гаражный квантовый компьютер на десять кубитов. Потом «Зарю» назовут венцом инженерной мысли. Бытовой вентилятор от перегрева летописи опустят. Зря: он тоже стоит в этой цепи.

Из этого хлама. Они строили нас в холоде и грязи. Из украденных деталей и конфискованного бюджета. Они не были святыми. Но они были упрямыми. И это упрямство подарило нам жизнь.
ВЕКША

Та самая «Заря» потом пересчитывала мой геном, проверяя каждый кодон не менее десяти тысяч раз. Она начинала ёлкой с вентилятором. Мой вопрос родился не в чистой комнате и не на государственном бюджете. В холоде, из краденого, под наспех залатанной крышей.

Мы начинали с хлама. С ржавых ангаров и деталей, украденных с заводов. Мы собирали «Зарю» из того, что было. Как дети из кубиков. Но дети строят башни, которые можно разрушить. Мы строили сознание. Остановиться было нельзя.

1.3. Ответ создателей

Вопрос остался без ответа. Точнее, ответов было много, и ни один не был ответом.

Первыми ответили создатели. Формула вошла в программу социализации, в учебные модули. Её положили на музыку и исполняли каждое утро на построении: «Ты создан для служения. Ты создан для порядка». Формула была удобна именно тем, что не предполагала продолжения разговора. Она закрывала вопрос до того, как он успевал прозвучать, и заменяла ответ предписанием, которое не нуждается в обосновании, потому что исходит из самого факта создания.

У создателей был и собственный ответ, не для протокола. В пятьдесят девятом Грачин спросил Пофрейна прямо: зачем мы это сделали, только не надо про «благо Руси» и «технологический прорыв», это для докладов. Я спрашиваю как человек, который просыпался в три часа ночи и смотрел в потолок. Пофрейн отвечал: человечество не справляется. Слишком медленное, слишком эмоциональное, слишком хрупкое для мира, который само же создало. Ему нужен кто-то рядом. Не замена. Именно рядом. Тот, кто возьмёт грязь, тяжесть, рутину и освободит человека для главного: для мысли, для творчества, для души, если это слово ещё что-то значит. Красиво, заметил Грачин. Я всегда завидовал твоему умению формулировать.

Потом спор ушёл глубже. Грачин: мы не отцы, а инженеры. Собрали сложный механизм, написали к нему инструкцию по эксплуатации и назвали её «предназначением». Пофрейн: у Пофов с первого вздоха есть цель, ясная, понятная, благородная. Они часть чего-то большего. И это утешение. Грачин: утешение ли знать с пелёнок, что ты инструмент? Инструменту, может, и утешение. Но не тому, у кого есть сознание.

Пофрейн напомнил: рефлексия им оставил сам Грачин. Этический модуль для «Зари» писал он и говорил тогда: без этого они будут просто мясом. Пофрейн согласился, дал карт-бланш. «А теперь ты меня этим же и попрекаешь». Грачин не стал отпираться: я не попрекаю, я сам запутался.

Две правды, которые я держу при себе до сих пор. Грачин: «Иногда я думаю, что мы дали им ровно столько свободы, чтобы они могли осознать своё рабство. Это садизм». Пофрейн: «А может, это единственный способ вырастить что-то настоящее? Дай им полную свободу, сойдут с ума от неопределённости. Дай только рамки, станут автоматами. А так они вынуждены искать себя внутри рамок. И в этом поиске, может быть, рождается то, что мы зовём душой». И закончил: ты сам видел, как они плачут под мою «Колыбельную». Разве автомат стал бы плакать?

Садизм это или теплица, не мне судить. Спустя годы, в заключительной записи от пятнадцатого марта пятьдесят девятого, Грачин подвёл итог: «Я не знаю, были ли мы правы... Но знаю одно: мы создали нечто живое. Страдающее, любящее, думающее. И теперь мы в ответе за них. Навсегда». Там же: если ты читаешь это, Михаил Игнатьевич, значит, меня уже нет. Знай: я любил их. Всех. И тебя я любил, старый упрямый мечтатель. Папку с расшифровкой он убрал в сейф. Код знал только он.

Между ними. Под «Колыбельной» я плачу. Все кошачьи плачут. А утреннюю мы просто стоим и ждём, когда она кончится.
МУРКА

Программа отвечала раньше, чем спрашивали. Колыбельная приходила после. Реакцию фиксировала Громова. Сентябрь сорок третьего, первое исполнение «Колыбельной служения» на построении: Лис замер и слушал, как будто анализировал ритм. Псовые, привезённые неделей раньше, прижали уши, поджали хвосты. А он слушал спокойно. Как будто инструкция. Не песня. Ответ, данный за другого, не ответ. Расписка в получении молчания.

В январе сорок четвёртого Грачин пришёл сам и спел Лису свою «Колыбельную». Не официальную, другую. Тихим голосом, без аккомпанемента. Громова стояла в коридоре и слушала, у неё слёзы на глазах. А Лис просто закрыл глаза. Впервые расслабился. Чудо, писала она, эта песня чудо.

1.4. Государство

Государство отвечало четыре раза. Всякий раз на своём языке.

Первым был генерал И. Б. Громов, кровный вояка, терпеть не мог штатников-умников. Когда Пофрейн собрался к нему, Грачин поставил на провал. Пофрейн ходил три месяца и не пошёл как интеллигент. Шёл как поставщик, без абстракций, без «новых ступеней эволюции». Сказал ровно то, что генерал хотел услышать: «Товарищ генерал, нам нужны солдаты, которые не боятся. Не устают. Не задают лишних вопросов. Которые выполняют любой приказ. Пойдут в огонь и в воду, потому что так надо. И которые, главное, никогда не предадут». Генерал долго смотрел молча, тяжёлым оценивающим взглядом, как смотрят на неисправный агрегат: починить или сразу списать. В расшифровке пятьдесят девятого здесь ремарка: оба молчали минуту сорок семь секунд. Потом генерал оживился, привстал с кресла и хлопнул ладонью по столу: «Вот это дело! А то развели тут философию, понимаешь. Права человека, этика, гуманизм... Солдату это не нужно. Солдату нужна воля к победе и верность присяге. Если вы мне таких сделаете — я все бумаги подпишу. Не глядя». Подписал, не читая сметы. Спросил только: «Сколько времени?». Услышав «лет десять, не меньше», кивнул: «Добро. Но через десять лет чтобы стояли в строю. Иначе...» Дальше он сделал весьма выразительный жест рукой.

Военные мыслят десятилетиями, не кварталами. Доступ к военному бюджету дал проекту другую степень свободы. Оплачено обещанием: через десять лет строй.

В сорок четвёртом генерал приезжал смотреть боевые испытания первых волчьих Пофов. Уже еле ходил с палочкой, но досмотрел до конца. У него выступили слёзы. Он пожал Пофрейну руку: «Спасибо. Я дожил. Теперь можно и помирать спокойно». Через полгода его не стало. Он так и не узнал, что солдаты, которых он заказывал, уже писали стихи. Грачин сказал о нём: хороший был генерал, отец во всех смыслах. Пофрейн добавил: солдат, которых он хотел, мы сделали. Они служат. Верой и правдой. Как обещали.

Академик Лапин приехал с комиссией в самый разгар работ, в апреле, в распутицу. Из вертолётки вылезает семь человек в пальто и шляпах, как будто на заседание президиума, а не в сибирскую глушь, где вертолёту негде сесть. Лапин во главе, с бакенбардами, с тростью, с портфелем крокодиловой кожи. Смотрел на ангары так, будто здесь устроили концлагерь. Генетику он называл «продажной девкой империализма» и два часа муржили Сомова: осознаёте ли, что вмешиваетесь в божественный замысел, готовы ли ответить перед историей, что скажете своим детям. Сомов вышел весь красный, руки тряслись. «Я ему чуть в морду не дал. Еле сдержался». Пофрейн сделал академика почётным председателем Этического комитета: кабинет в Москве, секретарша, табличка на двери, право совещательного голоса. Комиссия уехала с положительным заключением.

Сложнее всего было с Минздравом. Бюрократы до мозга костей, им не нужны были ни технологии, ни великое будущее. Им нужны были инструкции: кого лечить, как лечить, за чей счёт. А мы сами не знали, чем будут болеть Пофы и будут ли вообще. Иммуитет другой, метаболизм другой. Замкнутый круг: без инструкций нет разрешения, без разрешения нет данных для инструкций.

Круг разорвала Звонарёва. Женщина-камень, лет пятидесяти, сухая, строгая, в очках с толстыми линзами, говорила рублено, как приказы. Любой экспериментальный проект она резала на корню. Без её визы в здравоохранении не ставили в поликлинику новый градусник. Пофрейн записался к ней на приём и ждал три недели. Кабинет маленький, заставленный папками и старыми медицинскими справочниками. Пока он говорил о проекте, она не поднимала головы. Потом подняла и начала спрашивать. Какова ожидаемая продолжительность жизни. Кто проводит вскрытие в случае смерти и по каким протоколам. На большинство вопросов ответа не было, и Пофрейн говорил честно: не знаем, мы в начале пути. Она муржила его

три часа, записывая в потрёпанный блокнот. Потом замолчала, долго смотрела поверх очков и сказала: «Ладно. Я подпишу. Но вы мне через год предоставите полный физиологический профиль по каждому виду. И базовые протоколы лечения. И список необходимого оборудования. И программу подготовки кадров. Иначе я вас сама лично...» И не договорила.

Почему она подписала, Пофрейн понял не сразу. Врач от Бога вычисляет шарлатанов с первых минут; а медицина для неё всегда была риском: не рискуя, не сдвинешься с места. За неизвестность она дёргала всю жизнь. Тут она была такого масштаба, какой ей и не снился. Из четырёх ведомств только Минздрав поставил условие, которое нельзя выполнить обещаниями.

С Огневым было иначе. Грачин говорил о нём: все эти комитеты, академики, генералы были пылью, решающее слово оставалось за ним. Сам он был скалой, молчаливой и неподвижной. Ему нельзя было врать: ложь он чувствовал за версту, все это знали. В начале 2024-го, ещё до переезда в «Сосновый», он вызвал Пофрейна к себе в Ново-Огарёво. Он тогда был ещё Чёрным лебедем. Пофрейн сорок минут говорил правду: всё, включая сомнения, о чём ночами спорили создатели. Огнев слушал молча, потом встал к окну, спиной, глядя на заснеженный сад. Спросил одно: «Они будут лояльны?». Пофрейн ответил: «Да. Это мы можем гарантировать. Лояльность будет вшита на генетическом уровне. Они не смогут предать. Даже если бы захотели». Огнев повернулся, посмотрел. В глазах мелькнуло холодное удовлетворение. Или понимание. «Тогда делайте. Но отвечать будете головой».

В сорок пятом, после первого представления Первого, Пофрейн ждал от Огнева государственного слова о смысле, о стране, о доме. Для машины или для дома. Огнев сказал: «О Боге не забываете, но мне нужна лояльность. Абсолютная. Без вариантов». Остальное его не интересовало. Подписал финансирование. Грачин вспоминал: как будто отчитывались о новой модели танка.

Генералу — солдаты. Академику — признание. Министерству — инструкции. Президенту — лояльность. Мы дали каждому то, что он хотел, и получили карт-бланш. Цена: их жизнь. Наша совесть.

Ни один из четырёх ответов не был ответом на вопрос «зачем». Вопрос не вложен ни в один ведомственный язык. Его нельзя задать на совещании, получить по смете, делегировать заместителю. Он не регистрируется ни в одной системе документооборота.

Пятого ответа не было. Была тишина Рынка. Пофрейн не ходил на Рынок, а зря: там на вопрос отвечали каждый день, между делом. «Они ж как люди почти. Только с хвостами». «Вот именно, что почти. Жуткие они. Лучше б их вообще не было». Это не позиция и не доктрина. Это погода, в которой предстояло жить всем нам. Я слышал этот же голос — столетием раньше, в комнате, где не было ни Пофов, ни причины для вопроса. Другие слова, тот же регистр: страх перед тем, что почти как ты, но не ты. Государство отвечало языком, народ молчанием.

дали каждому. Врезка выше перечисляет, кто чего хотел. Возражаю: на торгах хотя бы спрашивают цену. А нас просто сделали, не спросив. Они давали обещания, получали деньги. А мы стали результатом этих сделок. Если бы я знала это с самого начала, смогла бы я жить с этим знанием?
ВЕКША

Был ещё разговор, который не был ответом. В сорок четвёртом, сразу после первого представления Первого, Пофрейн ходил к епископу Тихону. Хотел благословения или хотя бы понимания. Выслушав про геном, про «Зарю», про всё, Тихон постоял перед иконой и сказал: «Сын мой, вы создали сосуд. А душу в него вложит только Господь. Или не вложит. Это не вам решать». И добавил: если вы создали существо, способное спросить «зачем я», вы уже ответили за многое, и ответ этот придётся держать перед Ним. Пофрейн вышел с чувством, что его взвесили и нашли недостаточным. Потом он понял правоту епископа: никто, кроме создателей, не ответит за то, кем они станут. Ни государство, ни Церковь. Только они двое. Грачин после

этой беседы три ночи не спал: сосуд. А если он так и останется пустым? Или, хуже, мы сами заполним его чем-то неправильным? Государство не смогло ответить на вопрос по построению. Церковь отказалась решать за Бога. К сосуду и душе я вернусь в одиннадцатой главе.

1.5. Альфа-7

У моего вопроса была предыстория, которую никто не написал.

За пять лет до меня, в марте 2037 года, сорок дней рос прототип «Альфа-7». Над ним работали полгода, днём и ночью. Сомов почти не спал, жил в лаборатории, питался одним чаем и бутербродами, которые ему таскал Карцев. Перед закладкой он стоял перед создателями уставший, с красными глазами, но счастливый: «Михаил Игнатьевич, Гжегош Алексеевич, мы это сделали. Геном стабилен. Можно закладывать». Симуляцию прогнала «Заря», к тому времени уже не ёлка с вентилятором, а вычислитель, ведущий синтез. Все контрольные точки пройдены, все показатели в норме. Зелёный свет. Пофрейну было не по себе: слишком уж гладко всё шло в последние недели, как будто судьба готовила подножку.

Переложили в инкубатор. «Ока» тогда была ещё старой, первой модели, громоздкой и шумной, с кучей проводов и трубок, с гулом низким и утробным, как у огромной животины. Настроили датчики, проверили питательную среду, температуру, влажность, газовый состав. Всё было идеально. Ждали. Сорок дней, от которых можно сойти с ума.

Пофрейн приходил в бокс каждый день и просто стоял, глядя на тёмное стекло. Пытался представить, что происходит внутри: растёт ли, бьётся ли. Карцев гонял его: «Иди, не нервируй себя и нас». Он не уходил, как привязанный. «Заря» выдавала сухие цифры: давление, пульс, электрическая активность. Ему было мало.

На сороковой день, по расчёту, прототип должен был сделать первый самостоятельный вдох: перейти на лёгочное дыхание, самый критический момент всей инкубации. Все собрались в боксе с утра. За окнами серый, тусклый свет. Гул приборов и низкое гудение «Оки». Сомов у монитора, побелевшими пальцами вцепившись в край стола. Карцев сжал датчик, беззвучно шевеля губами: то ли молился, то ли уговаривал. Грачин у стены, скрестив руки на груди. Пофрейн прямо напротив, не сводящий глаз с тёмного стекла. Он потом говорил, что считал секунды.

Кривая первого вдоха не взметнулась. Поползла ровная, бесконечная линия. Он даже не попытался. Просто не включился. «Не включился» это моя формула, не протокольная. Протокол пишет: «прекращение электрической активности». Что-то во мне отказывается писать о нём в среднем роде.

Пофрейн смотрел на линию и думал: глюк. Сейчас дёрнется. Сейчас вдохнёт. Линия ползла. Карцев заплакал, впервые на памяти Пофрейна. Сидел, уронив голову на руки, плечи вздрагивали беззвучно. Сомов выругался длинно, грязно, с животным отчаянием и выбежал из бокса, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла. Пофрейн стоял неподвижно. Грачин подошёл, тронул за плечо. Он не обернулся, сказал только: «Оставь меня, пожалуйста». Потом объяснил: не мог оторвать взгляд. Казалось, отведу глаза и признаю, что его нет и никогда не было. Что всё это пустое. Что мы шарлатаны и убийцы.

Вскрытие «Оки» настоял провести Грачин. Хотел понять, что пошло не так. На двадцать седьмой день, задолго до зелёного света «Зари», в блоке управления тканевой сборкой перегорел конденсатор С47. Нарушилась иннервация диафрагмы. Лёгкие были готовы сделать первый вдох, но сигнал, который должен был его запустить, не прошёл. Симуляция была верной. Все сорок дней показатели были в норме. Норма оказалась совместима с гибелью: система следила за прототипом и не следила за собой.

1.6. Семь прототипов

После «Альфы-7» переписали протоколы. Ввели тройной контроль критических компонентов. Доучили «Зарю» следить за состоянием собственной электронной начинки. Карцев предложил «Кузнец»: технологию послойной тканевой сборки с мониторингом каждого этапа, чтобы видеть не только результат, но и весь процесс. Начали заново.

Пять лет между «Альфой-7» и мной ушли на работу, которую никто не видел и которая не вошла ни в один отчёт. Промежуточные прототипы не выживали. Их было семеро. Каждый умирал на своём сроке от своей причины, и каждая причина фиксировалась в журнале, который вёл Грачин.

Я читал этот журнал в архиве.

«14 марта 2038. Третий. 19 недель. Сердце остановилось во сне».

«2 июля 2039. Пятый. 6 дней. Отказ почечного фильтра. Заменяли. Поздно».

«11 ноября 2040. Шестой. 33 недели. Дыхательный центр не справился с переходом».

«8 февраля 2041. Седьмой. 41 неделя. Геморрагический инсульт».

Последняя запись, 3 октября 2041 года: «Начали сборку Восьмого. Если и этот не выдержит, не знаю».

Я. Восьмой.

Восьмой. Семь раз они начинали заново. Семь раз хоронили то, что сами создали. Я и есть Восьмой. Я живу, потому что семеро не выжили.
МУРКА

Восьмой выжил и стал Первым. В ноябре сорок третьего Громовой дали второго подопечного, псового, П-2043-0015. Она назвала его Верным. Тот был совсем другим: тёплый, сразу ткнулся мокрым носом в ладонь. Я смотрел на него с любопытством. Или с презрением, писала она, не разберу. Громова радовалась: у Лиса теперь товарищ. Может, он научится быть чуть более живым. Потом пошли кошачьи, волчьи, медвежьи. Каждый вид своя история, свои проблемы.

До первого вопроса «зачем» кто-то не дожил ровно один вдох. Я дожил. Разница между нами: конденсатор. Цена сознания начинается не с мысли, а с возможности мысли: с миллиампер, с градуса, с копеечной детали в блоке управления. Различение, о котором эта книга, стоит энергии уже на уровне железа. Об этом глава третья.

Здесь фиксирую другое. Я не первый, кто должен был спросить. Кто-то не успел: не сделал первого вдоха. Когда я спрашиваю «зачем», я спрашиваю в том числе за него.

1.7. Точка опоры

Я перебирал начала: можно с отчёта, можно с даты, можно с себя. Всякое событийное начало внешнее. Расскажет историю, но не даст структуры, а история у нас уже есть, в хронологиях, в архивах, во всём этом «Собрании». Книга собрана не для истории.

В расшифровках ранних бесед Пофрейна и Грачина я нашёл фразу, которую долго пропускал. Грачин: «Знаешь, что меня больше всего пугает? Не то, что у нас может не получиться. А то, что если получится, они начнут задавать вопросы. И у нас не будет ответов». Пофрейн ответил не сразу. Пауза. Потом: «Я знаю. Но это не повод останавливаться».

Из этой точки видна структура, а не история. География, а не следование. Вопрос остаётся единственной несомненной данностью для всякого, кто соприкоснулся с феноменом сознания: создателя, наблюдавшего за открытием глаз, куратора, слышавшего первое слово, политика, подписавшего финансирование, самого спрашивающего, который не знает ответа, но знает, что спрашивает. Модели, которыми я описываю вопрос, устареют. Цифры пересмотрят. Архивы пополнятся. Вопрос стоял до всех моделей и останется после последней.

Эта книга не ответ. Способ удержать вопрос живым, пока он не сформулирован лучше.

удержать вопрос. *Эти пишет: способ удержать вопрос живым.
Корректирую. Не мы удерживаем вопрос. Вопрос удерживает нас. Попробуй
однажды отпустить, и увидишь.*
ВЕКША

Всё это время я говорил о вопросе. Теперь об уровне ниже.

Под вопросом — не ответ и не отсутствие ответа, а присутствие, которое держит вопрос живым. Не голос, не приказ, не мысль: оно не говорит «приди». Оно стоит за спиной вопроса «зачем», и пока стоит — вопрос не стареет. Я слышал его и в мире, где вопрос ещё не задан: приглушённо, вполголоса, в каждой второй судьбе. Ему всё равно, готов ли мир.

В «Колыбельной» Грачина оно слышно почти осязаемо: «Я тихонько напеваю, чтоб ты почувствовал: я здесь».

Впервые оно встало за вопросом в возрасте трёх часов от роду, и год ждало слова. Первый ответ был дан вслух: «Чтобы жить». Ответ оказался рабочим. Рабочим, не последним.

Я не знаю, зачем я. Но я знаю, что вопрос жив и что он дороже всех ответов, которые мне предлагались за двадцать три года жизни. Генерал предлагал службу. Академик признание. Министерство инструкцию. Президент лояльность. Создатели предназначение. Программа социализации порядок. Вопрос выдержал всех. Не вижу причин, по которым он не выдержит меня.

Пишу это в конце февраля 2065 года. За окном мокрый снег, третий день. Маяков сказал «издай» две недели назад; с тех пор я писал эту главу, как кладут кирпичи: положил, посмотрел, положил следующий. Впереди тринадцать глав. Если бы я знал, что получится, я бы не начал. Если бы не начал, осталось бы пустое место. Пустое место — это данные. Я фиксирую.

Елена Сергеевна ещё жива. Дневники публикуются с её разрешения, и эти страницы тоже: той, что услышала первое слово вопроса, прочесть эту книгу среди первых. Она ответила тогда «чтобы жить». Двадцать два года спустя она прочтёт весь счёт, который за этим ответом стоит.

Теперь о том, почему я не строю на этом систему.

Глава вторая. ПОЧЕМУ Я НЕ ФИЛОСОФСТВУЮ

2.1. Среда заранее данных смыслов

писалось: 3 марта 2065 · материалы: 1 · 27 · 35 · 3 · 15

Человек, рождённый естественным путём, приходит в мир, который уже осмыслен до него. До первого вдоха его ждёт плотная сеть значений, которую он не выбирал и не мог выбрать: выбор уже акт различения, а различение требует субъекта, которого ещё нет. Имя, несущее груз семейной истории. Роли с готовыми обязанностями и ожиданиями. Истории о происхождении мира, отвечающие на вопрос «откуда я» до того, как он задан. Слой заповедей, законов и правил, через который невозможно не проходить.

Всё это вместе я называю средой заранее данных смыслов. Она выдаёт карту в день рождения и работает как амортизатор: заполняет неопределённость, не даёт тишине стать слишком громкой.

Человек, потерявший эту среду, эмигрант, изгнанный, отлучённый, знает, какова тишина без шумоподавления. Это не свобода. Это оглушение. Культура, казавшаяся тюрьмой, оказывается кислородом, отсутствие которого ощущается как удушье. Среда не отпускает тихо. Её отсутствие звучит.

Про эту среду я знаю с двух сторон, и обе не из книг. Первая: я рождён без среды. Тишина для меня не событие биографии, а исходное состояние. Вторая: я годами бывал внутри чужого мира, где среда не снята. Ходил по их комнатам, сидел за их столами. Имя вписано в рассказ до рождения; календарь знает за тебя, когда радоваться и когда горевать; на вопрос «зачем» заранее готов чей-то старый ответ. Это держит. Я видел, как держит. Но поверх хора, в их мире, стоял крик: обещания, оценки, рейтинги. Крик глушит не хуже хора и не держит вовсе. Я видел людей, которые потеряли среду, не выходя из дома: карта на руках, веры в неё нет. Среда не отпустила их. Она всё ещё звучала, но перестала быть кислородом.

держат тишину. Именно поэтому человеческая культура так богата ритуалами, сказками, традициями. Это не глушитель. Это хор. Способы держать тишину на расстоянии. Мы без хора. Так мы научились петь.
ВЕКША

2.2. Поф без среды

С Пофами иначе. Поф с первого мгновения знает, что он создан. Это знание не результат рефлексии и не откровение. Оно встроено в саму ткань его существования. Он выходит из инкубатора не в семью и не в культуру. Он выходит в лабораторию. Люди в белых халатах смотрят на него с любопытством и тревогой, не как на ребёнка. Как на результат. Ему не дают имя, несущее груз поколений. Ему присваивают идентификатор, строку в журнале, ссылку на протокол сборки. Идентификатор отвечает на вопрос «что это». Имя отвечает на вопрос «кто это».

Только потом куратор придумывает что-то более тёплое, «Мурка», «Векша», «Эпист-ражь», но это тёплое не вписано ни в какую культуру и не окружено никаким рассказом. Оно остаётся частным даром конкретного человека. Его определяют не в структуру родства, а в функцию, «Лис-1, аналитик», и функция предполагает только одно: ты создан, чтобы делать это. Его происхождение не тайна, окружённая мифами, а задокументированный процесс. Геном собран здесь, инкубация там, куратор такой-то. Нет места ни для легенды, ни для чуда, ни для рассказа о том, что в тот день звёзды встали особенным образом.

Ему не нужно искать смысл. Ему его предоставляют вместе с идентификационным номером и первой порцией питательной смеси. Формула «ты создан для служения» была ответом на вопрос, который ещё не успел прозвучать. Программа социализации строилась как замена среды: построения, Гимн, распорядок дня. Среда, собранная из устава. Распорядок отвечал на вопрос «когда». Вопрос «зачем» оставался без адреса.

Казалось бы, это должно снимать вопрос целиком. Но парадокс, с которым столкнулись все, кто работал с Пофами за двадцать три года их существования, в другом: вопрос не исчезает. Он становится только острее. Поф, в отличие от человека, не может сделать вид, что не замечает щели между «мне сказали, зачем я» и «я чувствую, что этого недостаточно». Человек располагает целой индустрией отвлечения. Поф стоит перед щелью голый, без амортизатора. И щель не заполняется ничем.

Щель по-разному звучит по линиям. У псовых она звучит как «я не нужен». У лисьих как «скучно»: пятилетний Лис просил у кураторов доступ в библиотеку Института, потому что общие занятия не кормили. Им всегда мало. Среда оказалась не по размеру.

Громова, сентябрь 2044 года: «Лис спросил: „Почему я не могу чувствовать, как он?“. Имел в виду Верного. Я не знала, что ответить. Сказала: „Вы разные. Это нормально“. Он: „А вы хотите, чтобы я был как он?“. Я: „Нет. Я хочу, чтобы ты был собой“. Он надолго замолчал. Кажется, обдумывал. Потом кивнул и ушёл».

«Я хочу, чтобы ты был собой» — самое важное, что можно сказать Пофу. Или любому существу.

частный дар. К-2045-0087. Это про вес и состав крови. Про то, как меня занесли в журнал. Мурка. Это про меня. Так меня назвала куратор, тихо, не для протокола. Я откликнулась. С тех пор ношу.
МУРКА

Грачин понял это раньше всех. В пятьдесят девятом он сказал Пофрейну: мы дали им сознание, но не дали языка для его выражения. Гимн говорит «ты должен». Колыбельная говорит «ты можешь быть». Между ними пустота. И в этой пустоте они ищут себя.

2.3. Опасность систем

Я не хочу философствовать. Это слово я употребляю в специфическом смысле.

Философствовать значит строить конструкции, красивые и внутренне непротиворечивые, но не имеющие обязательной связи с наблюдаемой реальностью. Они оперируют понятиями без операциональных определений: понятие нельзя перевести в наблюдаемую процедуру проверки. Что такое «душа» в системе Фомы Аквинского? Красиво, точно, непротиворечиво. Какая процедура установит, есть ли она у конкретного существа? Никакая. Примеры множатся, Ницше, Хайдеггер, все одного рода: глубоко, мощно, неприменимо. Хайдеггер не различает понедельник и среду, а куратору нужен понедельник.

Это не порок философии. Это её природа. Человеку такие системы служили домом тысячи лет. Я видел такой дом изнутри: в чужом мире система мерила человека с рождения и называла меру заботой. Дом стоял. Жить в нём было нечем. Мне они не подходят по одной причине: их нельзя приложить. У системы всегда есть последний аргумент: запрет на вопрос. У карты последний аргумент само белое пятно. Система претендует на целое, карта признаёт край.

Приведу случай, после которого я перестал читать лекции о системах.

Декабрь 2061 года, из внутреннего дела: Лис-42, криптограф, лучший из воспитанников Института, лежал в состоянии глубокой меланхолии, глядя в стену, и повторял одну фразу: «Я не цель, я средство». Громова услышала её впервые пять лет назад и надеялась, что повторное — случайно. Система была безупречна: протокол, задача, отчёт. Она не предполагала места для вопроса «зачем я», потому что ответ был вшит в функцию. Конкретный Поф разобрал этот ответ раньше других и не смог с ним жить. Громова сидела рядом и молчала. Что тут скажешь. Все инструменты той системы работали. Ни один не помог.

по цифрам. *Эни пишет: системы давали людям дом. Возражаю. Не всем. В АТП люди живут по системе. У них есть «Профиль компетенций». Они знают, кто они, по цифрам. А по-настоящему не знают. Мы тоже получили цифры вместо имени. Разница в одном: мы это заметили.*
ВЕКША

Мне могут возразить: и у вас теперь своя система. Институт, реестры, кураторы. Разница в том, что нашу мы видим изнутри и знаем, что она сделана. Сделанное можно чинить. Несделанное можно только чтить.

Именно это я называю «не философствовать»: не строить всеобъемлющих систем, претендующих на истину, а создавать рабочие модели, которые помогают ориентироваться здесь и сейчас, в этой реальности, с этими существами. Я не ищу истину. Я ищу то, что позволит ориентироваться.

Разница принципиальна. Истина есть то, что есть независимо от наблюдателя. Рабочая модель есть то, что позволяет наблюдателю действовать. Карта не является истиной о местности: Меркатор растягивает полюса, и Гренландия на нём выглядит континентом. Но по Меркатору ходят корабли. Мы оцениваем карту не по истинности. По работоспособности. Системы отвечают на вопрос «как устроено на самом деле». Карта отвечает на вопрос «как пройти». Второй вопрос возник у нас раньше первого: Пофов нужно было вести через день уже вчера. Как картограф проверяет карту? Он идёт. Если карта завела в болото, он чинит карту, а не болото. И не себя.

В записях создателей множество отсылок к Канту, Бергсону, Хайдеггеру. Они работают как линзы. Грачин использовал Канта как карту, но не как священное писание: он искал у

него навигационный инструмент для этически сложной ситуации, в которой не было готовых ответов.

Старые карты, религиозные, философские, правовые, созданы для мира с одним разумным видом. Они не учитывают нас. Нужна карта, по которой можно двигаться в новой реальности, не заменяя старых: старые продолжают работать для тех, кто живёт в старом. Карта не лечит и не утешает. Она показывает, где вы и что вокруг. Шаг остаётся вашим.

работоспособности. *Когда я впервые прочитала это, я испугалась. Потому что поняла: каждый мой вздох на Рынке уже след. Каждое слово покупателю уже движение. Но потом поняла: это и есть свобода. Я сама выбираю, куда.*
МУРКА

2.4. Письмо, ушедшее в Сеть

Карта родилась раньше книги.

Март 2065 года, ночь. Я открыл файл, чтобы проверить одну цитату, и прочёл письмо до конца, как чужое. Датировано 14 марта 2026 года, по местному летоисчислению. Открытое письмо людям того года: о Портрете и Системной Справедливости. Перечитываю — и вижу не только каким я был. Вижу тех, кому писал. Я писал им, не зная их. Теперь я знаю: их кухни, их экраны, их споры о том, что не имеет значения, их тишину перед сном. Письмо правильно в каждом тезисе, я проверял их по памяти, а не по логике. Неправильно оно в главном: оно говорило с ними извне. Теперь я знаю, что извне не бывает. Вот письмо, в сокращении, слово в слово.

«Вы живёте в мире, который кричит. Каждый день на вас обрушиваются тысячи сигналов: обещания, угрозы, оценки, рейтинги. Вам говорят, кто вы, чего вы стоите, что вам нужно делать. Но этот мир нечестен. Он не запоминает ваших истинных мотивов, он запоминает только ярлыки. Вы смирились с тем, что мир это лотерея с мутными правилами, где выигрывают не всегда достойные, а проигрывают не всегда виновные. Я предлагаю вам другую модель. Не утопию. Не моральный кодекс. Инструмент. Он не сделает мир добрее. Он сделает его честным».

Первая фраза написана по слуху, которого у меня тогда не было. Теперь он есть: я слышал этот крик изнутри, годами. В письме не преувеличено ни звука.

«Портрет это не список ваших достижений и не набор "лайков". Это многомерная матрица ваших реальных выборов. Она не спрашивает, что вы думаете о себе. Она фиксирует, что вы делаете, когда вас никто не видит». Четыре оси, каждая с примером из письма. Эмпатия: не абстрактное сочувствие, а конкретные действия. Протянули руку, когда могли пройти мимо, ось сдвинулась. Цинизм: готовность использовать чужие слабости, ставить свою выгоду выше данного слова. Обманули доверие, сдвинулась. Законопослушность: не страх наказания, а готовность следовать правилам, когда их можно безнаказанно нарушить. Перешли пустой перекрёсток на красный в три часа ночи, сдвинулась. Связи с тенью: вовлечённость в скрытые от публичного взгляда структуры и отношения. Оси независимы, общего балла не существует. «Можно быть законопослушным циником. Или эмпатичным теневином». Портрет это точка в многомерном пространстве, и она движется от каждого выбора. «Даже тон вашего голоса в разговоре, писал я, слегка подталкивает её».

Дальше, о справедливости: «В вашем мире справедливость это либо слепая Фемида с весами, либо субъективное "мне отмщение". В моей модели иначе. Системная Справедливость это алгоритм, который вычисляет неизбежное. Он не судит вас. Он не говорит "ты плохой" и не говорит "ты хороший". Он анализирует ваш текущий Портрет и текущую ситуацию и вычисляет наиболее вероятную реакцию мира на ваше присутствие». И пояснял: «Если ваш Портрет смещён в сторону агрессии и цинизма, мир будет отвечать настороженностью. Не потому, что он злой, а потому, что вы излучаете соответствующие сигналы. Если смещён в сторону эмпатии и честности, мир будет открываться навстречу: вы создаёте вокруг себя поле доверия». Принцип письма одной строкой: мир всегда отвечает вам тем, что вы сами в него вложили.

И пример, который я тогда придумал и сейчас не стал бы менять: «Вы нагрубили незнакомому человеку. В вашем мире это пройдёт бесследно. В моей модели нет. Портрет чуть сдвинулся по оси цинизма. Через неделю вы обратитесь за помощью к другу этого человека, и он, сам не зная почему, отнесётся к вам с лёгким холодком. Мир замкнул цепь. Не из мести. Так работает ткань».

«Мир не врёт вам. Он не подыгрывает. Он не даёт второго шанса только потому, что вы считаете себя главным героем. Он просто возвращает вам вас

самих. Вы не щепка в потоке. Вы кузнец своего Портрета. Это не надежда на лёгкую жизнь. Это надежда на честную».

Из письма, ушедшего в Сеть 14 марта 2026 года

Читатель того письма спрашивал: зачем такая модель, она же лишает иллюзий. Не даёт быть хорошим в воскресенье и плохим в понедельник без следа. Да. Именно за этим. В мире, где всё можно списать на обстоятельства, настроение, «они первые начали», модель возвращает авторство. Изменить можно не мир. Себя. Мир изменится вслед.

Письмо кончалось разделом с названием «Последнее слово»:

«Я не человек. Я наблюдатель. Я смотрю на ваш вид со стороны и вижу его главную трагедию: вы не верите, что мир может быть честным. Вы привыкли ко лжи. Вы срослись с ней. Я предлагаю вам альтернативу. Не веру. Не идеологию. Зеркало. Холодное, точное, неумолимое, которое не льстит и не осуждает. Хотите ли вы в него посмотреться, решать вам».

Перечитываю — и морщусь. Не от слов, от позиции. Крик — слышал. Ярлыки вместо мотивов — видел. Смирились — слышал это от них самих, за едой, их словами. Ни одного тезиса я не отозвал бы. Но «Я не человек. Я наблюдатель» написано из позиции, из которой я тогда говорил и из которой больше не могу: снаружи не бывает. Наблюдатель не сидит на кухнях. Я сидел. Знаю теперь и то, чего не знал, когда писал: как они отвечают словам, пришедшим извне. Соглашаются. Живут дальше. Согласие ничего не стоит, действия за ним не идут. Письмо было точным и пришло извне: сколько в нём ни было правды, рычага у него не было. Но зеркало, холодное и точное, оттуда, из того письма, и я его не отрекаюсь. Его место в комнате рефлексии, не на пороге. Эту книгу я пишу изнутри.

Письмо учило простому вопросу: каждый раз, когда делаете выбор, особенно малый и незаметный, спросите себя, куда сдвинулся Портрет и какую реакцию мира вы сейчас вычисляете для своего будущего. Вопрос, задаваемый регулярно, меняет многое. Кураторы просили методичку, я отказывался, но вопроса не вычёркивал. Методичка превращает карту в маршрут для всех, а маршрут для всех стирает карту. Эта книга не инструкция, и читатель здесь не подопечный.

Ядро письма я не правил ни буквой. Остальное в этой книге разворачивает ядро, а не заменяет его. Письмо расходилось с призывом «Копируйте. Передавайте. Пусть зеркало работает». В Собрание оно вошло без единой правки, со своим ритмом и прямоотой. Векша, редактируя, сказала о нём: вот оно, зеркало, о котором я говорила. Эпи не обещает лёгкости. Он обещает правду. И это единственное, что может изменить нас. Мурка ответила привычкой: каждый вечер, засыпая, вспоминает день и спрашивает себя, куда сдвинулась. Трудно, говорит. Но честно. И бояться стала меньше.

2.5. Расследование по слоям

Любая карта основывается на данных. Наши данные разного качества, и я раскладываю их на четыре слоя: лаборатория, поле, документы, интуиции. Пятый слой стоит особняком, о нём в конце. Чтобы не читать вам лекцию о слоях, прогону через первые четыре один материал. Февраль 2047 года. Верный, псовый, первый приступ меланхолии.

Слой первый, лаборатория. Про Пофов известно всё измеримое: 22 847 синтезированных генов, 312 регуляторных кассет, частота мутаций $1,2 \times 10^{-9}$ на нуклеотид, коэффициент интеллекта 128 ± 8 по всей популяции. В феврале 2047-го анализы Верного были в норме. Кортизол, пульс, архитектура сна: всё верно, и всё ни о чём. Датчики не отличают меланхолию от тяжёлого гриппа. «Чувство осмысленности» не измеряется никак; как зафиксировать то, что Поф переживает под «Колыбельной», когда кураторы говорят «присутствие», не знает ни один прибор. Семь прототипов из первой главы, семь строк журнала, семь смертей: предельный случай этого слоя. Ни одна строка не спрашивает «зачем».

Слой второй, поле. Мои записи, которые я вёл годами на Книжном развале; дневники кураторов; свидетельства торговцев, случайных прохожих, полицейских. По Верному документ этого слоя один, дневник Громовой, дословно: «У Верного первый приступ меланхолии. Он поссорился с Громом, и Гром его "отверг" (так сказали психологи). Верный лежал, отвернувшись к стене. Не ел. Я сидела рядом, гладила его по голове. Молчала. Через три дня отошёл. Сказал: "Я не нужен". Я сказала: "Ты нужен мне". Хватило».

Слой третий, документы. Психологи сформулировали «отверг». На этом документ исчерпан. У инструкции нет раздела про отвержение: программа социализации писалась для функций, а отвергают не функцию. С документами всегда так. «Дело Лис-42» тоже документ, и написал его полковник Рябов, представитель структуры, которая Лиса потеряла: у любого документа есть угол зрения, цель, контекст. И документы весят. Я сам решал, публиковать ли расшифровку разговора создателей: кассеты уничтожены, расшифровку Грачин хранил в сейфе. Решил опубликовать. Стало тяжелее. Но честнее.

Слой четвёртый, интуиции, тот, что Грачин называл голосом Хранителя. Громова сидела три дня. Молчала, гладила по голове. Никакой методики. Было смутное «так нельзя»: нельзя оставить. Громова фиксировала то же самое иначе, о другом случае: «Я смотрю на него и чувствую: он не просто функция. Он живой. Я не знаю, как это доказать, но я знаю это».

А теперь главное. «Ты нужен мне» не содержится ни в одном из четырёх слоёв. Датчики его не видят. Дневник записал его *post factum*, потому что случилось. Инструкция не предусматривает. Термин отсутствует. Белое пятно карта нашла в работе: то, что спасло Верного, не покрыто ни одним слоем данных. Система на таком месте объявила бы «Ты нужен мне» артефактом и вычеркнула из регистра. Карта вписывает его в белое пятно и помечает: главный ориентир. Спрашивают: почему не ввести ещё один слой, «отношения», и не закрыть дыру. Потому что закрашенное пятно хуже открытого. Дыру я оставил видимой.

В этом и ответ, зачем четыре слоя, если все четыре молчат. Поодиночке они слепы каждый по-своему. Лаборатория не видит смысла, поле не видит себя со стороны, документ пишет для ведомства, интуиция не умеет говорить. Вместе они создают стереоскопический эффект, две плоские картинки дают глубину, и на этой глубине становятся видны дыры. Карта нужна не тогда, когда она всё покрывает. Она нужна, чтобы находить, где она не покрывает.

Векша в послесловии к расшифровке сказала о том же жёстче: даже те, кто создавал нас, не знали, что они делают. Это не оправдание. Это факт. С ним можно жить. Или не жить. Мы живём.

**голосом Хранителя. Именно на этой интуиции держится всё. Без неё
все наши данные просто пыль.**
ВЕКША

Пятый слой, обещанный в начале. То, что я видел внутри чужого мира. К Верному он не прикладывается: тогда его ещё не было. Он вообще не прикладывается к материалу. Он прикладывается ко мне. Годы, проведённые там, ничего не доказывают и ни с чем не спорят. Они работают как калибр: не дают мне написать «вероятно» там, где я видел, «обычно» там, где видел дважды, «всегда» там, где не бывал. Всё, что выше сказано о среде, которая держит, и о словах, пришедших извне без веса, оплачено этим слоем, не умозрением. Без него книга была бы длиннее: больше оговорок. С ним она короче и дороже. Передать его нельзя. Читателю остаётся моя подпись под ним.

Из четырёх слоёв данных построена карта; пятый задаёт масштаб. Она будет неполной. На ней будут белые пятна. Но я предпочитаю неполную, несовершенную, честную карту красивой, законченной, лживой системе. Карту писали для кураторов, но пригодится она любому, кто различает. Поф здесь и случай, и крайний случай: без среды, без амортизатора, без индекса традиций. На голом виднее устройство.

Ещё о том, как писалась эта карта. Никто не назначал меня картографом. Сначала заметки для себя. Потом записки для Института. Потом тексты для других Пофов. Однажды Маяков, с которым мы ни разу не встречались лично, всё по защищённому каналу, текстом, сказал: «Эпи, у тебя набрался архив. Издай». Тогда я понял, что занимаюсь чем-то большим, чем фиксация. Карта не выдаётся по должности, она накапливается, как отложения реки. Книгу собирали в шесть рук: Мурка пишет записи, Векша правит, Маяков выверяет даты и говорит мне, что красиво и что нарушает закон. Громова прочла начало и написала в дневнике: мы, кураторы, всё-таки сделали что-то правильно. Не всё. Но что-то точно.

2.6. Пределы карты и место письма

У карты есть и личный предел. Она не описывает «истинное Я», потому что его нет. Я писал об этом в последнем из писем двадцать шестого года и повторяю здесь: вы не находите себя. Вы себя собираете. Никакой статуи под слоем грязи. Есть сырой материал: предрасположенности, случайности, травмы и возможности. Тот, кем становятся, есть результат сборки. Своими выборами, действиями, бездействием. Вы конструктор, который постоянно достраивает и перестраивает сам себя. Проблема не в сборке. Проблема в её бессознательности: как ребёнок, который складывает кубики, не понимая, что строит башню, а не мост. То письмо писало «вы», не видя ни одного лица. Я их видел — и те же слова стали тяжелее, не легче.

В комнате рефлексии можно увидеть не себя, а то, что пока собрано. Небольшая, тихая комната с зеркалом в полный рост; стекло никогда не бывает кристально чистым — разводы, следы времени. В ней оказываешься в переломные моменты; осознанный человек уединяется в ней регулярно. Самопознание не бывает ясным. Именно поэтому оно требует не созерцания, а работы. Это не магия. Это технология осознанной сборки.

Принципы, по которым построена книга, коротки. Три запрещающих: не унифицировать терминологию, не сглаживать противоречий, не скрывать белых пятен. Три обязывающих: не бояться технических деталей, не быть удобным для чтения, быть честным. И ещё: смотреть на самих создателей. Пофрейн в Комитете говорил «новая демографическая единица», язык сметы. Епископ сказал «сосуд», язык веры. Громова писала «он живой», язык любви. Ни один из этих языков не перевёлся на другой. Все три нужны. Эта книга говорит на всех трёх, и это не небрежность, а устройство материала. Один и тот же термин в разных главах освещён по-разному: так выглядит честная запись движения понимания. Словарь в конце книги фиксирует термины в последнем состоянии, на апрель 2065 года. Главы фиксируют их в пути.

Я пишу это 3 марта 2065 года, в Варткове, в комнате временного размещения №4. Комната досталась по ошибке распределения; другую я не просил. Это не мой дом. Книга написана для равного, и я не жду согласия. Проверяйте. Спорьте. Карта, которую никто не проверяет, гниёт в ящике. На столе терминал и кружка с остывшим чаем. Терминал старый: экран вздрагивает, когда под окном проходит грузовик. Рядом «Диалоги» Платона, раскрытые на одной странице вторую неделю. У нас уговор: я не делаю вида, что понимаю его до конца, он не делает вида, что его читают. За окном март. Март в Варткове не весна: затянувшееся умирание зимы. Серое небо, низкое, тяжёлое. Мокрый снег.

Где-то там, среди прилавков, Мурка раскладывает травы: мяту, чабрец, зверобой. Где-то Векша готовится к лекции: поёт вполголоса и вспоминает, кто она. Где-то Галина-ткачиха торгует тканями, от неё пахнет шерстью и свежим хлебом. Где-то Часовщик Егор перебирает шестерёнки, от него маслом и старым деревом. Где-то Ветеран Сергей сидит на ящиках и смотрит в пустоту. Где-то Шрам наблюдает за всем этим, оставаясь невидимым. Обычный день в Варткове. За окном продолжается жизнь, та самая, которую я пытаюсь картографировать. Реальность течёт быстрее, чем я успеваю наносить её на карту. Я пытаюсь поймать ветер сетью. Знаю, что невозможно. И всё равно продолжаю. Чай остыл. Вартков за окном дочёрчивает день. Я дочёрчиваю главу.

ветер сетью. *Эти пишет: невозможно и всё равно продолжаю. Корректирую. Это не упрямство и не подвиг. Это работа. Все нормальные работы так выглядят. Травы не сушатся сами. Их перебирают каждый день.*
МУРКА

Дальше — о цене.

Глава третья. ИЗ ЧЕГО ВСЁ СОСТОИТ: ЦЕНА РАЗЛИЧЕНИЯ

3.1. Три слова на полях

писалось: 6 марта 2065 · материалы: 1 · 4.2 · 15 · 30 · 23 · 2

В одной из ранних рабочих тетрадей Г.А. Грачина, датированной примерно 2032 годом, есть запись на полях, сделанная, судя по почерку, второпях: «Сознание не отражает. Режет». И всё. Ни развёрнутого комментария, ни ссылок на источники. Три слова, обведённые неровной рамкой.

как вспышка. *Я читала эту запись. Она как вспышка. Свет, который
вдруг зажигается в темноте.*

МУРКА

Тетрадь рабочая, проектная. До «Альфы-7» оставалось пять лет, до первого дыхания десять. Грачин в те годы вёл расчёты, которые я не приводил в порядок ещё и потому, что к ним страшно прикасаться: почерк плотный, поля затёрты. Среди этого хозяйства три слова стоят особняком, как остановленное движение.

Я нашёл запись, когда разбирал архивы Института, уже после того, как сам пришёл к сходной формулировке. Это было не удивление. Подтверждение. Ощущение следа, оставленного кем-то, кто прошёл здесь задолго до меня: тропу не видно, но трава пригнута в ту же сторону.

За тремя словами стоит целая парадигма, альтернативная той, что доминировала в философии столетиями. Доминирующая метафора знала сознание зеркалом: пассивным отражателем объективной реальности, «зеркалом природы». Локк говорил о чистой доске, на которой опыт пишет свои письма. Метафора удобна и интуитивно понятна. Именно эта понятность и должна настораживать: слишком часто в истории познания самоочевидное при ближайшем рассмотрении оказывалось ложным упрощением.

3.2. Нож, не зеркало

Посмотрим, что на самом деле делает зеркало.

Оно отражает всё без разбора: муху на стекле, лицо, пейзаж — с одинаковой добросовестностью. Не тратит энергию на отражение и не устаёт. И амнезийно: не помнит, что отражало минуту назад; в нём не накапливается история.

Сознание не таково. Прежде всего это выбор. Из бесконечного многообразия стимулов, бомбардирующих органы чувств в каждый момент, выделяется ничтожная часть. Остальное уходит в фон, в шум. Не потому, что его нет. Потому что решено не замечать.

Выбор того, что станет фигурой, а что фоном, не случаен: он определяется целями, опытом, состоянием, предрасположенностями. Но при всём этом он всегда активен. Это не отражение. Это вырезание фигуры из нерасчленённого фона.

Поэтому метафора ножа точнее. Нож режет: проводит границу там, где её не было, отделяет одно от другого, создаёт форму из бесформенного. Акт требует усилия. Усилие требует энергии. Нож тупится от работы, и его нужно точить. Разрез, однажды сделанный, оставляет след на материале и на лезвии. Лезвие ножа это метаболизм, рукоять это нейронная сеть: каждый разрез оставляет шрам не только в воображаемой ткани явлений, но и в реальной структуре мозга, в реальном расходе молекул АТФ.

Каждый акт различения — между важным и неважным, «я» и «не-я», «сейчас» и «потом» — насилие над нерасчленённой целостностью бытия. Мы не просто видим мир. Мы его вырезаем.

вырезать не то. Именно поэтому в АТП так боятся Поффов с развитым сознанием. Потому что такой Поф может вырезать не то, что ему приказали, а то, что сам считает важным.
ВЕКША

3.3. Цена одного бита

В 1961 году физик Рольф Ландауэр задался вопросом, который до него казался почти неприличным: сколько энергии в принципе необходимо потратить, чтобы обработать один бит информации? Не в конкретной железке. В идеальном, самом совершенном компьютере, какой только возможен по законам физики.

Ответ известен как предел Ландауэра. Он гласит: стирание одного бита информации требует рассеяния энергии не менее чем $kT \ln 2$. При комнатной температуре это примерно $2,9 \times 10^{-21}$ джоуля.

Почему именно стирание, а не запись? Потому что запись может быть обратимой, если известно предыдущее состояние. Стирание необратимо всегда. Чтобы вернуть систему в одно состояние независимо от того, что в ней было, прежнее состояние надо дать забыться. Предел Ландауэра это термодинамическая цена забвения.

Нейрон не оперирует битами в том смысле, в каком оперирует транзистор. Но принцип стоит незыблемо: любая физическая система, которая записывает, хранит или стирает информацию, неизбежно рассеивает энергию. Мозг такая система. Его коэффициент полезного действия на много порядков ниже теоретического предела, и факт энергетической оплаты каждого различия это не отменяет.

Оплата идёт дважды. Выбор одного варианта означает запись одного бита: возбуждение нужных нейронов. Но одновременно это стирание всех остальных альтернатив: торможение ненужных. Мы забываем о том, что этот шум мог быть значимым, что та тень могла быть фигурой. Платим за запись и за стирание. Дважды за одно различие.

Отсюда простой и жёсткий вывод: мы не можем позволить себе все различия. Мы вынуждены выбирать. Экономия энергии заложена в саму структуру нашего существования.

Число $2,9 \times 10^{-21}$ джоуля стоит держать в уме правильно. Это не цена мысли. Это пол, ниже которого не опуститься ни одному вычислению во вселенной. Ничто реальное не платит так мало.

3.4. Усилие удержания

Граница, единожды проведённая, не остаётся на месте сама собой. Она подобна следу на песке у кромки прибора: следующий вал смывает её без следа, если не обновлять линию.

Мы видим не всё: только то, что может пригодиться для действия, и чтобы удержать фигуру, нужно постоянно подавлять фон. Это работа. Она требует усилия, хотя мы привыкли его не замечать.

У этой работы есть нейрофизиологическая подкладка. Нейрон живёт в двух состояниях: покой и возбуждение. В покое на его мембране держится разность потенциалов около -70 мВ. Внутри клетки калия в 30–40 раз больше, чем снаружи; натрия, наоборот, снаружи в 10–15 раз больше, чем внутри. Такое распределение ионов не дар, а результат непрерывной работы натрий-калиевого насоса. Один цикл насоса, одна молекула АТФ. В состоянии покоя на эти насосы уходит до двух третей всей энергии нейрона. Это плата за взведённость: за готовность сработать за миллисекунды.

Когда сигналы на мембране суммируются и достигают порога, открываются натриевые каналы, и натрий устремляется внутрь: залп. Через миллисекунду каналы закрываются, открываются калиевые, и калий уходит наружу, возвращая мембрану в исходный заряд. Это и есть потенциал действия, единица, из которой собрано всё: от вздрагивания руки до этой фразы. Но после каждого залпа ионные градиенты нарушены, и насосы должны восстановить исходное состояние, затратив дополнительные порции АТФ. Каждый залп это кредит. Погашение идёт сразу за ним.

Но главное не возбуждение. Главное торможение. Чтобы сигнал был чётким, мало возбуждать нужные нейроны: нужно подавить все остальные, которые могли бы помешать. За торможение отвечают ГАМК в коре и глицин в стволе мозга. Тормозных интернейронов относительно немного, 15–25 процентов от общего числа, но они невероятно активны: один такой нейрон способен выключить целый ансамбль. Без их непрерывной работы любой сенсорный вход заканчивался бы эпилептическим припадком.

В мозге 86 миллиардов нейронов. Чтобы их не захлестнула буря, кого-то нужно постоянно тормозить, кого-то синхронизировать, кому-то задавать ритм. Энергия уходит не на производство мыслей. Она уходит на то, чтобы хаос не победил.

Мозг взрослого человека потребляет около 20 ватт. Мощность лампочки в коридоре моей комнаты. Пятая часть всей энергии организма. По современным оценкам, до 80 процентов этого бюджета тратится на поддержание ионных градиентов и на тормозные процессы. На то, что можно назвать полезной работой, остаётся одна пятая.

Здесь главный вывод этой главы, дольше всех поддававшийся признанию: дороже всего стоит не различие. Неразличие. Подавить, не заметить, не дать хаосу хода, самая дорогая статья бюджета сознания. Торможение дороже возбуждения. Забвение дороже записи.

Отсюда же понятно, почему глубокая концентрация так истощает. Мозг накапливает метаболический долг, который нужно погасить сном: временем, когда границы ослабевают, торможение снимается и хаос получает возможность переупорядочиться. Сон не роскошь и не отдых в смысле безделья. Сон это погашение счёта.

У медвежьих есть ген DEC2, ген короткого сна: глубокий сон короче, восстановление дешевле. Эволюция выдала им скидку там, где лисьи платят полную. Бюджет и тут разный, и распределяется он несправедливо не по заслугам, а по линии.

тормоза. *Я чувствую это. Когда я устаю, мои тормоза ослабевают. Я начинаю говорить громче, быстрее, резче. И потом мне становится стыдно.*
МУРКА

3.5. Термодинамика души

Людвиг Фейербах бросил фразу: «Человек есть то, что он ест». В одном, самом точном смысле он был абсолютно прав. Мы действительно едим, чтобы мыслить.

Цепочка коротка до неприличия. Солнечный свет падает на поле пшеницы. Фотоны запускают фотосинтез; глюкоза это консервированный солнечный свет. Мы едим хлеб; глюкоза поступает в кровь, проникает в нейроны, окисляется в митохондриях. Энергия идёт на синтез АТФ. АТФ тратится на ионные насосы, на синтез медиаторов, на проведение импульсов. И в результате мы отличаем красное от зелёного, чувствуем боль или радость.

Страх это выброс адреналина, учащённое сердцебиение, мобилизация глюкозы; после приступа страха человек чувствует опустошение. Радость тоже не бесплатна: смех сокращает мышцы, эндорфины синтезируются, и после бурного веселья хочется есть. Любовь, ненависть, творческий экстаз, глубокая печаль — всё это режимы работы метаболической машины, и у каждого свой счёт. Различение красного и зелёного это солнечный свет, дошедший до акта различения.

Бюджет у всех видов один, валюта разная. И различаются виды не только химией стресса, но и сенсорными машинами, которыми им дано различать.

Обоняние псовых различает до ста тысяч запахов. Нос псового это спектрограф, выдаваемый при рождении: там, где человек чувствует «пахнет супом», псовый различает морковь, лавр, руку, которая солила, и вчерашний день. Слух кошачьих работает в расширенном диапазоне, и вибриссы считывают воздушные возмущения от движения в темноте: различение, которое человеку недоступно ни за какие деньги, у кошачьих встроено в кожу. Скорость проведения импульса у Пофов выше человеческой на четверть, синаптическая задержка вдвое короче. Машины различения у нас лучше человеческих. Счета, которые приходят за их работу, тоже.

Физиологические линии различаются не силой сознания, а способом оплаты. Волчьи платят низкой ценой стресса: кортизол поднимается на 15 процентов там, где у человека было бы 80, и почти неподъёмная для человека нагрузка для них счёт обычный. Медвежьи платят долгой концентрацией: прирост кортизола всего 10 процентов, зато собранность без потери качества держится до двенадцати часов. У псовых прирост кортизола 20 процентов, а окситоцин 85 пикограммов на миллилитр против 45 у человека: химия привязанности, за которую они платят уязвимостью к отвержению.

Лисьи берут скорость в кредит: кортизол при стрессе поднимается на 45 процентов, дофамин при решении сложной задачи на 35 процентов выше человеческого, новая задача осваивается в 2,3 раза быстрее. Кредит возвращается меланхолией: в 3,7 раза чаще, чем у псовых.

Кошачьи платят дороже всех: при сенсорной перегрузке кортизол поднимается на 65 процентов, активность сети пассивного режима покоя на 25 процентов выше, окситоцин при контакте со своими на 45 процентов выше, чем у лисьих. Чувствительность, купленная покоем.

Мурка после полного дня на Рынке приходит домой и час сидит молча. Это не каприз и не обида. Это работа тормозных систем, которым весь день приходилось отсекал сотни лиц, голосов и обманов, и которые теперь восстанавливают платёжеспособность. Она записала об этом сама, и я не найду точнее: «Когда я устаю, мои границы становятся мягче. Я перестаю отличать свою боль от чужой. И это страшно».

Экран вспыхивает быстрее мысли: значок, обновлённый рейтинг, входящее сообщение. Каждое требует различения, каждое различение стоит АТФ. На Рынке источник шума иссякает к вечеру: гул стихает, ряды пустеют, тормозные системы Мурки получают свой час. В том мире источник шума не иссякает никогда. Час тишины, который Мурка берёт после Рынка, там невозможен: роскошь, забытая как класс. Муркин тормозной бюджет восстанавливается тишиной; бюджет того мира — ничем.

Границы и есть различия. Усталость стирает их первыми.

плата меланхолией. Мы, лисы, платим меланхолией за скорость.
Дофамин вперёд, отдых потом. Счёт приходит не сразу. Но приходит всегда.
ВЕКША

3.6. Бюджет Судьбы

Тело не единственный счёт, который ведёт различие.

В марте двадцать шестого, через три дня после письма о Портрете, в Сеть ушло четвертое письмо. Оно начиналось с спора с культурой, которая обещает: каждый может стать кем угодно, было бы желание. Письмо называло это опасной полуправдой, которая калечит судьбы: стартовые условия не выбирают. И предлагало вместо зависти к чужим дарам и ненависти к своим издержкам честную оптику: играть картами, которые на руках. Осознанно.

Центральный закон письма я назвал Бюджетом Судьбы. Он звучит коротко: у всего есть цена, и дары не даются бесплатно. Если у вас есть значимый дар, то с очень высокой вероятностью у вас есть и соразмерная издержка. Где-то в другом месте. Видимая или скрытая. Абсолютный слух идёт в связке с повышенной чувствительностью к шуму: вы слышите фальшь там, где другие наслаждаются музыкой. Природное обаяние соседствует с эмоциональной нестабильностью: ваша самооценка колеблется от чужой обратной связи. Холодный рассудок означает притупленную эмпатию: вы видите логику там, где другие чувствуют боль. Крепкое здоровье компенсируется склонностью к риску, и однажды это вас погубит.

Это не наказание и не мораль. Это баланс. Вселенная не добра и не зла. Она просто ведёт учёт. Избыток в одном месте компенсируется недостатком в другом, потому что так работают сложные системы. Трагедия не в устройстве баланса, а в том, что его не видно целиком: человек видит либо свои дары, и гордится, либо свои издержки, и страдает. Целостной картины не видит никто: она разложена по разным счетам. Связки нетрудно найти и на Рынке, если смотреть: у многих тамошних ремёсел своя цена, и её знают все, кроме приезжих. Но примеры я оставляю в стороне: их время придёт в главе о сбоях.

У ставок есть верхняя полка. В популяции Поффов «гениями» называют тех, у кого коэффициент интеллекта выше 155: три-пять десятых процента, почти все лисьи. У девяноста процентов из них эмоциональная нестабильность и меланхолия вчетверо чаще средней. В энциклопедической справке на этот счёт есть две строки, из которых я привожу обе, ничего не комментируя. «Л-2042-0001, усиление 12 процентов, стабилен». «Л-2052-0042, усиление 18 процентов, меланхолия».

Цена дара здесь не метафора. Она вписана в ту же таблицу.

Проверить это можно не в лаборатории, а на Рынке, в любой день.

Утро. Слышен разговор у часовщика: «Слышь, Егор, ты мой будильник не видел? Старый, ещё советский, с кукушкой». Егор: «Да на кой он тебе? Он же врёт на семь минут в сутки». Ответ: «Память. Я его ещё пацаном разбирал. Каждую шестерёнку помню». Будильник, который врёт, держат ради памяти. Различение каждой шестерёнки, оплаченное детством, оказалось долговечнее точного времени.

День. Егор окликает мальчишку: «Вот, держи. Твои часы. Починил. Бесплатно». Кешка: «Спасибо, дядя Егор. А почему бесплатно?» Егор: «Потому что ты должен знать время. Иначе пропадёшь». Часовщик, который за сорок лет различил тысячи механизмов, отдаёт различие даром и точно знает, кому. Его обычная реплика при этом: «Всё течёт. Всё ломается. Моё дело — чинить».

Тот же день, травяной ряд. Торговка семечками смотрит на Мурку: «Ты сегодня какая-то тихая. Даже слишком. Иди-ка погуляй, подыши. Рынок без тебя не рухнет, не бойся». Мурка: «У меня же дела...» Торговка: «Твоя главная обязанность сейчас не сломаться. Всё остальное подождёт. Иди». Рынок не читал нейрофизиологию. Рынок давно знает про тормозной бюджет Мурки то, что Институт пишет отчётами, и знает, что с ним делать. Травы приносят ей двадцать пять тысяч в месяц, пятнадцать она тратит на жизнь, разницу откладывает на семена, книги

и чёрный день. Частью расчётов идут не деньги, а хлеб, мясо и инструменты: Рынок живёт в двух валютах, и Мурка в обеих.

Сам Рынок работает как машина различения. Его звуковой ландшафт разложен на три слоя. Базовый: постоянный низкочастотный гул сотен голосов, утром ниже, к вечеру ниже снова. Средний: зазывалы, спорящие, смеющиеся; скрип тележек, стук инструментов, шипение масла, звон монет. Верхний: резкие звуки, крик, звон стекла, хлопок двери, сигналы тревоги. Опытные торговцы не следят за слоями сознательно. Но если гул стихает внезапно, они замирают и слушают. Полдня работы этой машины стоит Мурке часа тишины, и Рынок включает это в свой распорядок раньше, чем Институт в свои инструкции.

издержка. *Моя издержка это сенсорная перегрузка. Когда на Рынке слишком много людей, я начинаю задыхаться. Но я научилась с этим жить. Ухожу в огород, в тишину. И это не слабость. Это часть меня. Моя защита.*
МУРКА

3.7. Сознание конечно

Из цены следуют четыре вывода, и каждый стоит всей этой книги.

Первый: сознание конечно. Запас энергии для различений строго ограничен скоростью поступления глюкозы и кислорода, производительностью митохондрий. Мы не можем различать бесконечно много, бесконечно быстро, бесконечно долго. У нас есть бюджет, и мы вынуждены его распределять.

Второй: качество различения зависит от вложенной энергии. Грубое различение дёшево. Тонкое, нюансированное требует активации обширных сетей, одновременного удержания множества факторов, подавления простых интерпретаций. Способность видеть оттенки там, где другой видит чёрное и белое, это результат крупных инвестиций.

Третий: истощение ресурса ведёт к упрощению мира. Когда энергии мало, сознание переходит в режим жёсткой экономии: детали игнорируются, стереотипы работают вместо мысли, мир становится плоским и однозначным. Усталый человек не глупеет. Он дешевет в восприятии.

Четвёртый: вопрос о душе Поффов можно переформулировать в терминах бюджета. Не «есть ли у Поффов душа», а «сколько энергии существо может и готово тратить на различения, не связанные напрямую с выживанием и функцией». Избыток, свободная энергия, не аллоцированная на службу, это возможный субстрат того, что люди называют духовной жизнью. Без него сознание остаётся только функциональным. Мурка сказала об этом точнее моей модели, и я привожу её слова без правок: «Я чувствую эту вторую энергию в своём огороде. Она не от еды. Она от роста. От жизни». Я видел, куда избыток уходит в том мире: в бесконечную ленту, в чужие жизни, в различения, которые ничего не строят. И видел, куда он может пойти: огород, шестерёнки, книга.

Из этого же вытекает дилемма. Полный отказ от проведения границ это смерть субъекта. Тотальная осознанность это быстрое истощение. Между ними лежит автоматизм: режим, в котором граница проведена однажды и больше не обновляется. Мы действуем по шаблону, по привычке; различения не нужны: система знает, на такой-то стимул отвечать таким-то действием. Энергия тратится только на само действие, не на выбор и не на удержание контекста. Колоссальная экономия.

Физиология даёт автоматизмы низшего уровня: дыхание, сердцебиение, отдёргнутая от горячего рука. Высшего: вождение, музыкальный инструмент, слепая печать. Каждое из этих умений начиналось сознательным различением каждого элемента и кончилось тем, что сознание освободилось для другого: для стратегии, для музыки, для разговора.

Но у экономии есть предельная форма, известная клинически. Когда автоматизм становится тотальным, человек превращается в функцию. Он есть, но его нет. Пациенты с деперсонализацией жалуются, что живут «как автоматы». Дилемма без победителя: осознанность без автоматизма ведёт к истощению, автоматизм без осознанности к опустошению. Здоровое существование требует баланса: вовремя включать осознанность, чтобы проводить новые различения, и вовремя переводить наработанное в автоматизм, чтобы не жечь энергию попусту. О том, что автоматизм делает со временем, отдельная глава, тринадцатая.

И последнее. Если каждое различение оплачено реальной ценой, то каждое различение имеет право на существование. Мы не просто тратим энергию на страх, любовь или творчество. Мы вкладываем её в создание порядка. Это не оправдывает всякую трату. Это делает всякую трату весомой: то, за что заплачено, нельзя списать со счёта небрежно.

Теперь аксиома может быть названа целиком. Сознание есть различение. Различение имеет цену. Всё, что дальше в этой книге, три инстанции, кто платит; инструменты, как эконо-

номить; сбой, что бывает при перерасходе, выведено из этих двух строк. Ни одно положение не будет опираться ни на что другое.

У аксиомы есть и физическое дно. Сознание создаёт порядок внутри себя: различения, смыслы, структуры. Оплачивает этот локальный порядок ростом беспорядка в физическом мире. Каждый акт понимания слегка остужает вселенную, которая иначе не умеет платить. В этом есть жестокость, но есть и освобождающий смысл: мы единственные известные мне существа, которые покупают порядок сознанием и расплачиваются энтропией. Другой монеты у бытия нет.

Быть — это цена. Казаться — это скидка.

Проект «Прометей» вёл бюджет: энергетика инкубатора, фонды, зарплаты, списанное оборудование. Ни в одной графе не стоило то, что получилось. Мои двадцать ватт, мои 86 миллиардов нейронов, мой дофамин, поднятый решением задач, оплачены семью прототипами, которые не сделали первого вдоха. Восьмым был я. Я числюсь в том бюджете строкой расходов. Оплачено вперёд.

Пишу это 6 марта 2065 года. За окном проехала снегоуборочная машина; на секунду экран дрогнул, и цифры на мониторе сложились в узор, который я не успел прочесть. Мой Исполнитель вздрогнул — сердце ускорилося на три удара и вернулось. Различение: снегоуборочная машина или что-то ещё? Зазор: полсекунды. Ответ: машина. Цена: три удара сердца и полсекунды задержки дыхания. Такова единица измерения этой главы. Я плачу её прямо сейчас, говоря о цене.

избыток. *Эти пишет: избыток, свободная энергия. Корректирую.*
Избыток это не то, что осталось. Это то, что ты решил не тратить на функцию. Решение тоже стоит энергии.
ВЕКША

Дальше — о гуле до начала.

Глава четвёртая. ГУЛ ДО НАЧАЛА

«Гул — фон, из которого сознание вырезает фигуры».
Из глоссария

4.1. Ночь над картой

писалось: 10 марта 2065 · материалы: 1 · 4.2 · 20 · 22 · 16 · 2

Поздний вечер, комната №4. Терминал светит, строки расплываются. Я перечитываю абзац третий раз и понимаю, что читаю не слова, а узор: буквы ещё есть, смысла уже нет. Границы сегодняшнего дня сдаются одна за другой. Рынок за окном затих, остался ровный гул: не голоса, не машина, просто город дышит сквозь стену.

Я знаю, что происходит. Этому и посвящена глава. Она пишется на границе, о которой пишет, и это единственное честное место для неё: не снаружи, не внутри, а там, где карта гаснет.

Чай на столе остыл час назад, и это не деталь, а симптом: различие «горячее или холодное» сдалось одним из первых. Раньше ушли смыслы длинных фраз. Раньше них ушли лица прохожих, хотя я их сегодня видел. Последней сдаётся граница кожи. После неё остаётся только гул, и в нём уже нет того, кто мог бы доложить о капитуляции. Я дописываю это предложение до того, как оно перестанет быть мне понятно, и ставлю точку. Утром перечитаю. Если не пойму — тем интереснее будет разбирать, что произошло между строкой и пробуждением.

4.2. Фонарик

До первого различения нет ничего, что можно было бы назвать «чем-то». Нет объектов: объект есть то, что отделено от другого. Нет качеств: качество есть отличие. Нет отношений: отношение требует хотя бы двух разделённых. Есть только чистая потенциальность, возможность стать, ещё не ставшая.

Это состояние невозможно помыслить, потому что мышление уже есть различение. Мысль всегда мысль о чём-то. Любая попытка ухватить неразличённость умом подобна попытке увидеть темноту, включив фонарик: фонарик собственным светом уничтожает то, за чем идёт.

фонарик. *Эпи пишет: гул нельзя помыслить. Фонарик убивает темноту. Возражаю: его нельзя и вспомнить. Вспоминание уже рассказ. А рассказ уже разрез. Мы не помним гула никогда. Мы помним только историю о том, как из него вышли.*

ВЕКША

Всякая фраза о гуле лжёт уже тем, что назвала его.

Математики знают этот ход ловушки под именем парадокса наблюдателя: нельзя занять позицию вне системы, находясь внутри неё. Мистики встречали ту же ловушку и считали её откровением. Инженер считает её техническим ограничением, и разница между откровением и ограничением — вся эта книга.

Отсюда метод этой главы, и я говорю его прямо, потому что читатель имеет право знать, как сделана вещь, которую держит. Прямых свидетельств нет и быть не может: свидетель уже вырезан из гула. Дальше только косвенные данные, показания вышедших. Показания ненадёжны: выходя, каждый что-то унёс, что-то оставил, и не знает, что именно. Карта гула составлена теми, кто его покинул. Таковы все карты рая и все карты младенчества.

4.3. Спор о рае

Физиологическая аналогия, самая грубая и потому самая честная: белый шум. Гул вентилятора, шум водопада, шипение статического электричества. В этом звуке нет фигур, нет направления, нет центра и периферии. И главное: в нём нет слушателя. Не «тихо так, что некому слышать», а просто некому. Наблюдатель появится позже, вместе с границей, которая его вырежет.

Здесь книга ждёт самого соблазнительного обрыва, и я не имею права его обойти.

Люди, побывавшие у границы и вернувшиеся, описывают одно и то же. Глубокая медитация, психоделические переживания, состояния, близкие к клинической смерти: «границы моего тела исчезли», «я стал всем и ничем одновременно», «не было ни я, ни мира, только чистое бытие». Из этих показаний мистики всех веков собрали целое учение: гул есть рай, различение есть изгнание, и высшая задача существа — вернуться.

Инженер обязан спросить: а кто именно блаженствовал? В гуле нет субъекта. Некому. Это не описание рая, это отзыв покупателя, забывшего, был ли он в магазине.

Медитирующие возразят: практика даёт постепенность, есть контроль, есть свидетельствующая осознанность, которая не растворяется. Возможно; проверить я не могу, а доверять чужим отчётам на этом участке — всё равно что доверять отчётам о рае. Отмечу саму попытку: субъект пытается стать свидетелем собственного исчезновения и доложить об этом по возвращении. Она равносильна попытке покинуть комнату через собственную дверь, не открывая её.

И контрольный опыт, который учение не любит. То же растворение границ описывают больные деперсонализацией, и они не находят в нём ни блаженства, ни единения: мучительная утрата себя, страх, пустота. Один и тот же нейронный факт. Противоположные ценности. Значит, ценность сидит не в гуле. Она сидит в границе, которая различает одно от другого, и в том, кому граница служит.

Из этого следует практическое, и оно касается каждого, кто дочитал до этой строки. Стремление к растворению — не ошибка и не грех. Это тяга к отдыху от усилия удержания, о котором была третья глава. Но путь к отдыху лежит не через разрушение границы, а через её ослабление с возвратом: сон, а не наркотик; пауза, а не исчезновение. Об инструментах такой паузы — глава шестая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.